

В. Я. Гречнев

О поэзии Г. Иванова

Перед отъездом в эмиграцию Г. Иванов простился с близкими ему людьми и дорогими сердцу местами. «Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто! Как тревожно! Прощай, Петербург!..»¹ В этом прощании есть печальное предчувствие, но есть и понимание, что иного пути нет, и есть робкая надежда, что это бегство от голода, холода и всевозможных насилий новой власти – мера вынужденная и временная. Но когда отъезд состоялся, мысли и чувства его обрели совсем иную тональность и направленность.

На пароходе, который увозил его из России, он к своему удивлению «никакого чувства освобождения, легкости, радости» в себе не обнаружил. «Даже наоборот. Конечно, теперь я курил папиросы с золотым мундштуком вместо махорки, конечно, я был свободен, конечно, я ехал в Берлин, в Париж, где я мог делать, что хочу, где никто не мог меня вдруг арестовать, сослать, расстрелять. Все это было так. Но сознание это было каким-то бесцветным, отвлеченным, бесплотным, не имеющим цены. Реальными были: резкий ветер, мокрая палуба, хмурые волны да еще тревожный вопрос: неужели Россия потеряна для меня навсегда?» [3, с. 454].

Гораздо позднее, незадолго до смерти, когда надежда на возвращение уже давно была утрачена, он снова вспомнит свой отъезд и пожалеет, что простился совсем не так, как следовало бы.

Я, что когда-то с Россией простился
(Ночью навстречу полярной заре),
Не оглянулся, не перекрестился
И не заметил, как вдруг очутился
В этой глухой европейской дыре... [1, с. 401]

В эмиграции, в отличие от многих соотечественников, Г. Иванов с женой И. Одоевцевой устроились вполне сносно – и даже больше того. По ее словам, несчастья и бедность свалились на них гораздо позднее, где-то в конце сороковых годов, а до того: «жили мы вполне ком-

фортабельно на ежемесячную пенсию моего отца, сохранившего в Риге доходный дом. А когда отец в сентябре 1932 года умер, мы получили большое наследство и зажили почти богато – в роскошном районе Парижа, рядом с Булонским лесом. И замечательно обставились стильной мебелью. Даже завели лакея. А, кроме того, я накупила золота»¹.

Известна точка зрения, которую предельно ясно выразил А. Блок: «Чем холоднее и злее эта неудавшаяся личная жизнь (но ведь она никому не удастся теперь), тем глубже и шире мои идейные планы». Это высказывание невольно вызывает в памяти так называемых «проклятых поэтов», к которым можно причислить Блока и нередко относили Г. Иванова. Приведенный выше отрывок из воспоминаний И. Одоевцевой как раз и содержал полемику с подобным мнением. «В последний период жизни, – пишет она, – с чьей-то нелегкой руки его стали называть „поэт-аудит“ и сокрушаться о его горестной судьбе. За ним это закрепилось надолго. Однако он отнюдь не был отверженным или неудачником. Скорее наоборот, баловнем судьбы, может быть, лишь за исключением последних лет своей жизни... Но, как ни странно, он даже с некоторым удовольствием принимал это прозвище»².

Был ли Г. Иванов «баловнем судьбы»? Можно ответить двояко: был, если иметь в виду материальное благополучие, не был, если говорить о его душевном настрое и духовных устремлениях. Каковы же были они, его мысли, настроения и чувства, уже в первый период его эмигрантской жизни, в пору создания сборника «Розы» (1931 г.), во многих отношениях и нового, и новаторского?

«Былая петербургская поэзия Иванова, – писал Р. Гуль, – это вещная, предметная лирика («дух мелочей прелестных и воздушных») была поэзией только „своего круга“ и за него не выходила...»

Иванов ушел из России все с той же петербургской лирикой. Но уже в „Розах“ в привычную акмеистическую музыку всту-

¹Иванов Г. Собр. соч.: В 3 т. – М.: Согласие, 1994. – Т.3. – С. 54 (В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте).

пают еще смутно различимые... новые мотивы»³.

Ко времени публикации этого сборника Иванов уже более восьми лет живет в эмиграции. Надежда на возвращение в Россию у него, как и у многих других, еще жива, но с каждым днем всё больше тускнеет, а боль от разлуки и утрат всё усиливается, всё невыносимей становится мысль о высочайшей несправедливости судьбы, которая обрекла его на вечное скитание, более чем печальную долю изгнанника.

В этой связи внимания заслуживают те особые условия жизни, в которой эмигранты, с одной стороны, противостоят коренному населению, а с другой – с каждым годом всё хуже уживаются между собой. Об этом хорошо написал один из первых русских эмигрантов А. Герцен: «Выходя из родины с затаенной злобой, с постоянной мыслию завтра снова в неё ехать, люди не идут вперед, а постоянно возвращаются к старому; надежда мешает оседлости и длинному труду; раздражение и пустые, но озлобленные споры не позволяют выйти из известного числа вопросов, мыслей, воспоминаний, из которых образуется обязательное, тяготящее предание...»

Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтоб не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический, замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к тому отчуждение от не эмигрантов, что-то озлобленное, подозревающее, исключительное, ревнивое, то новый, упрямый Израиль будет совершенно понятен»⁴.

Примерно так было и во времена Г. Иванова, о чем свидетельствовали многие и в частности – младший современник и хороший его знакомый К. Померанцев. Интересно его размышление о двойном одиночестве, на которое был обречен писатель-эмигрант. «Творчество – преодоленное одиночество. Творить – находить свет в непрерывной ночи одиночества. А не преодолеть, не найти света – значит уйти в небытие.

В эмиграции к одиночеству творчества прибавляется еще одиночество изгнания, так что получается двойное одиночество, двойная стена, окружающая поэта-эми-

гранта. отделяющая его от внешнего мира...Такова его бесчеловечная судьба».

С особой остротой в эмиграции был поставлен такой старый и вечно новый вопрос, как «писатель и читатель». По словам К. Померанцева, «поэт всю жизнь обязан помнить о той пропасти, которая отделяет его от других людей. Не низших и не высших, а просто *других*...»

С этого всё и начинается: поэт знает, что живет окруженный непониманием, тем не менее он будет жить, чтобы писать: писать для них – для непонимающих, для тех, кто, «как гробы» противны его душе, кто сладкой музыкой воспринимает его нестерпимую муку. Словом, для тех, кому не нужны ни его поэзия, ни он сам»⁵.

На эту же тему размышлял и Г. Иванов в пору выхода его поэтического сборника «Розы» в статье «Без читателя». Он задает вопрос: «К кому обращается эмигрантский писатель...в Париже, в 1931 году?» и отвечает: «К эмигрантскому читателю». «Но кто он, этот эмигрантский читатель?.. «Смесь племен и лиц», бывшая когда-то пестрой, но пропущенная, как сквозь мясорубку, сквозь общий русский крах – и ставшая давно бесформенной массой. Эта читательская масса окрашена в один цвет – безразличной усталости, а усталость не только внешне рифмуется с отсталостью. В литературе она ищет развлечения и условности» [3, с. 535].

Итак, «баловень судьбы» оказался, как и многие другие его собратья по перу, в обстоятельствах поистине исключительных. А именно: без «живой среды», оставшейся в России, без своего читателя, которого обыкновенно все ругали, но который был «самым чувствительным, благодарным...на свете» [3, с. 536]. Как верно отмечал Г. Адамович: «В первый раз – по крайней мере на русской памяти – человек оказался полностью предоставленным самому себе, вне тех разносторонних связей, которые, с одной стороны, обеспечивают уверенность в завтрашнем дне, а с другой – отвлекают от мыслей и недоумений коренных, „проклятых“...» - Впервые вопрос „зачем?“ сделался нашей повседневной реальностью без того, чтобы могло что-нибудь его заслонить... Зачем писать стихи так-то и о том-то, когда надо бы в них „просиять и погаснуть“, найти единственно важные слова, окончатель-

В. Я. Гречнев

ные... ибо, в самом деле, как же было это не чувствовать, когда остался человек лицом к лицу с судьбой, без посредников: теперь или никогда!»⁶.

В этой ситуации, «лицом к лицу», весьма обостряется проблема времени во всех его категориях: в настоящем – с его эмигрантскими буднями в положении странника, всему, всем и всегда чужого, в будущем, на которое нельзя было рассчитывать без какой-либо надежды, а её-то не было и быть не могло, и, наконец, в прошлом, которое осталось в России и с Россией, а она с каждым днем все больше исчезала за горизонтом видимости, но с неменьшей силой продолжала волновать чувства, обострять мысль и тревожить память.

И понятно, что с годами самой реальной реальностью становится прошлое: от него некуда было уйти, оно не поддавалось забвению. Это состояние было сродни тяжелой болезни, поразившей многих эмигрантов и получившей имя – ностальгия. «Одно родное существо, – писал С. Л. Франк, – есть... у нас всех: это – родина. Чем более мы несчастны, чем более пусты наши души, тем острее, болезненнее мы любим её и тоскуем по ней... Мы любим ... нашу родную, древнюю, исконную мать; она сама теперь несчастна, обесчещена, больна тяжким недугом, лишена всякого величия...

Мы знаем, что мы сами больны одной и той же болезнью с нашей родиной, как бы ни были различны симптомы этой болезни, и что мы исцелимся только вместе – если исцелимся! Мы направим её на новый, верный путь не ранее, чем найдем его для себя самих»⁷.

Немало было и других эмигрантов, которые раньше или позднее С. Франка и Г. Иванова разуверились в том, что когда-нибудь смогут вернуться на родину, разве что во сне. Об этом нередко говорили и писали они, и, в частности, В. Набоков. Невольно вспоминается здесь «горсточка» земли родной, которую он хотел бы сохранить и после смерти: и как напоминание о верности ей, и как своеобразный пропуск в лучший мир.

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок...

«Апостол, скажу я, пропусти мя!...»
Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной...»⁹

Но «тяжкий недуг», о котором писал С. Франк, не только поразил и Г. Иванова, но и сделал из него поэта, и не просто одного из многих, а – поэта «со своим собственным голосом, со своим видением мира, не похожим ни на кого из предшественников»⁹. В своей «поэме в прозе» «Распад атома» он писал: «Ох, наше прошлое и наше будущее, и наша теперешняя покаянная тоска. „А как живо было дитячко...“ Ох, эта пропасть ностальгии, по которой гуляет только ветер, донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда – жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, „Боже, Царя верни“ [2, с. 8]...

Воспоминания о России, о Петербурге, можно сказать, ни на минуту не оставляют его, они по-своему, в зависимости от жанра его произведений, присутствуют в стихах, прозе и мемуарах. Он непрерывно станет задумываться над тем, какова природа памяти и воспоминаний, степень их достоверности, а также – течение времени в них и последовательность его.

«Есть воспоминания, как сны, – пишет он, – ...есть сны – как воспоминания. И когда думаешь о бывшем „так недавно и так бесконечно давно“, иногда не знаешь – где воспоминания, где сны...

...В стеклянном тумане, над широкой рекой – висят мосты, над гранитной набережной стоят дворцы, и две тонких золотых иглы слабо блестят... Вот царский смотр на Марсовом поле... и вот красный флаг над Зимним дворцом. Молодой Блок читает стихи...и хоронят „испепеленного“ Блока...

Воспоминания? Сны?

Какие-то лица, встречи, разговоры – на мгновение встают в памяти без связи, без счета. То совсем смутно, то с фотографической четкостью...И опять – стеклянная мгла, сквозь мглу – Нева и дворцы; проходят люди, падает снег. И куранты играют «Коль славен...»

Нет, куранты играют „Интернационал“» [3, с. 118].

Есть точка зрения, согласно которой искусство нам дано, чтобы не умереть от истины, и в развитие её: произведение искусства порождается отказом ума объяснять конкретное. Нечто общее, что сбли-

жает искусство с воспоминаниями, несомненно, есть, и прежде всего – присущий им элемент вымысла. Место и роль его в том и другом случаях, разумеется, сугубо специфические, и говорить здесь можно лишь о наличии вымысла как такового. И, конечно, меньше всего ожидаешь встретить его в воспоминаниях, хотя и понимаешь, что далеко не всё помнится из жизни былой, да и время вносит свои поправки, в силу чего многие факты и события обретают иной смысл и оценку. Очень верно кто-то заметил: «Прошлое – чужая страна, там всё по-другому».

«Воспоминание, – по словам Н. Бердяева, – не есть сохранение или восстановление нашего прошлого, но всегда новое, всегда преображенное прошлое. Воспоминание имеет творческий характер. Парадокс времени в том, что, в сущности, прошлого в прошлом никогда не было, в прошлом существовало лишь настоящее, иное настоящее, прошлое же существует лишь в настоящем...»

Проблема отношения настоящего и прошлого имеет двойное выражение. Как сделать бывшее, греховное, злое, мучительное бывшее не бывшим и как сделать дорогое нам, прекрасное, доброе бывшее, что умерло и перестало существовать, продолжающим существовать... Родное, дорогое нам, ценное настоящее должно было бы быть вечным, для него не должно было бы наступать то будущее, которое делало бы его прошлым»¹⁰.

Названный выше сборник стихов Г. Иванова «Розы» (и, разумеется, всё написанное им в последующие годы) пронизан подобными воспоминаниями о прошлом, о жизни в России, о её радостях и печалях, о том, что довелось увидеть и пережить, и о том многом, нередко, исключительно важном и ценном, что уяснилось гораздо позднее, и о том, что было, но бесследно исчезло.

Известно, что человек, покинувший свой дом родной, вновь и вновь в своих мыслях и чувствах пытается вернуться в те такие близкие и уже далекие времена, чтобы хоть на короткий миг снова оказаться среди своих бывших современников, приобщиться к той жизни, которая здесь когда-то шумела, чтобы оттуда посмотреть в будущее, еще недавно такое неясное, а теперь ставшее не только вполне обозримым, но и, как в данном случае, ненавистным настоящим.

С годами всё больше крепнет мысль, что никогда не вернуться ему в это прошлое – настоящее, ибо нет прежней России, а, следовательно, нет и своего дома. По словам Г. Иванова, «большевики разрушили систематически всё, на что опиралась русская жизнь: церковь, семью, национальное чувство, человеческое достоинство, честь, самый разум» [3, с. 580]. Понятно, что если рухнет тот мир, в котором ты жил, то и ты, пусть и не всегда в прямом смысле, умираешь с ним: «Должно быть, сквозь свинцовый мрак, На мир, что навсегда потерян, Глаза умерших смотрят так» [1, с. 277].

Взгляд умерших – взгляд особый. Можно предположить, что в нем преобладает черно-белый цвет, неизбывная печаль и вековая безнадежность. И поэтому, конечно, в этих стихах и обычно радующая человека «полоска рассвета», и земля, дающая ему жизнь и затем укрывающая его после смерти, видятся «злой и грустной» [1, с. 274]. Иначе говоря, обычные слова теряют свой привычный смысл, и это не удивительно, ибо связано с принципиально новым видением и пониманием важнейших, сущностных проблем человеческой жизни.

Насилие и смерть принесла человеку новая власть, и потому абсолютно всё: и кровь, и мосты над Невой приобретают черную окраску. Оставляет человека и его ангел-хранитель. И самое, пожалуй, главное: существенно меняется течение времени. Как известно, для «умершего», а в данном случае – для потерявшего свою родину человека, время останавливается, он теперь, если угодно, внутри вечности, и ему отныне не дано, да и не интересно знать, какое тысячелетие на дворе.

Черная кровь из открытых жил –
И ангел, как птица, крылья сложил...

Это было на слабом, весеннем льду
В девятьсот двадцатом году...

....
Над широкой Невой догорал закат.
Цепенели дворцы, чернели мосты –

Это было тысячу лет назад,
Так давно, что забыла ты [1, с. 265].

Следует признать, что это своеобразное летосчисление способно обесценить не только хорошо известные, но и самые дорогие слова. «Рассыпаются слова И не значат ничего»: будь то «история и чело-

В. Я. Гречнев

вечество», «изгнание или отечество», «надежда, отчаянье, вера, неверие». И никак не понять — что это: «беспамятство или мучение», «где всё, навсегда потеряло значение» [1, с. 262]. И подобным превращениям нет конца: еще вчера знакомое, родное лицо, сегодня — «уже чужое»; еще недавно представлялось, что твое прошлое навсегда с тобой, а теперь оказалось: «Это только сон во сне, Звезды над пустынным садом, Розы на твоём окне» [1, с. 267]; разительно поменялось и представление о доме родном: теперь с ним связана не земная жизнь, а — предстоящая, вечная: «Ближе к снегу, к белой пене, Ближе к звездам, ближе к дому» [1, с. 270]. Да, «рассыпались» слова и уходило из жизни человека что-то очень важное. «Страсть»? Нет и страсти. «Власть»? «Нет и власти Даже над самим собой». Нет и счастья — оно «выпало из рук, Камнем в море утонуло» [1, с. 282].

Да, отношение к жизни, как в бытовом, так и бытийном проявлении, определяет и отношение к слову. И наоборот. Взаимосвязь здесь очевидна, ибо, как заметил Ницше, «вечные вопросы ходят по улице». Человек на чужбине, в том же Париже, близок к пониманию, что его одиночество и неприкаянность («По улицам рассеянно мы бродим, На женщин смотрим и в кафе сидим») обусловлены в основном тем, что он не находит «настоящих слов», а «приблизительные» больше не желает употреблять. Об этом же размышляет и его герой в «Распаде атома»: «Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать в Россию, пить пиво и есть раков теплым вечером на качающемся поплавке над Невой. Я хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, ни в чем нет смысла. Я хочу разбить его, все равно как. Я хочу просто перевести дыхание, глотнуть воздуха. Но никакого воздуха нет». И еще: «Душе страшно. Ей кажется, что одно за другим отсыхает всё, что её животворило. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не может молчать и разучилась говорить» [2, с. 15, 18]. «Настоящие слова», как и воздух для жизни, остались в России, в Петербурге, куда дорога навсегда заказана.

И что же делать? В Петербург вернуться?
Влюбиться? Или Опера взорвать?

Иль просто — лечь в холодную кровать,
Закрывать глаза и больше не проснуться... [1, с. 280].

Отношение к России у Г. Иванова не было однозначным и простым. Он, как и упоминавшийся выше С. Л. Франк, склонен был полагать, что часть вины за то, что произошло на их родине, была и на нем, на них, покинувших её. «Все мы герои и все мы изменники, Всем, одинаково, верим словам. Что ж, дорогие мои современники, Весело вам?» [1, с. 303]. Горькие воспоминания о невосполнимых утратах лежали тяжелым грузом на душе, порождали ощущение зависимости, чувство весьма обременительной несвободы. Отсюда столь понятное стремление наконец забыть особенно тревожившие факты и события из этого прошлого. Но было и не менее сильное желание понять и определить причину причин поистине катастрофических последствий деятельности как старой, так и новой власти, и подвластного ей рядового участника всех этих событий, связанных с войнами и революциями.

В известном стихотворении Г. Иванова «Свободен путь над Фермопилами» есть такие строчки: «А мы — Леонтьева и Тютчева Сумбурные ученики — Мы никогда не знали лучшего, Чем праздной жизни пустяки. Мы тешимся самообманами... А за морями-океанами Видна блаженная страна:

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму.
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной — стихи, с другой — жених... [1, с. 387].

«Сумбурные ученики», надо понимать, ученики, которые в свое время не очень последовательно и глубоко прочли и поняли своих учителей. Интересна в этом плане статья Г. Иванова о К. Леонтьеве «Страх перед жизнью» (1932 г.). Он напоминает в ней о том, что и при жизни, и какое-то время после смерти мало понимали, но много ругали этого писателя и философа, а в XX в. вдруг обнаружилось, что «совпадение политических теорий Леонтьева с „практикой“ современности прямо поразительно»¹¹. Иными словами, «политические теории», которые еще недавно принято было называть «реакционными» и, отнюдь, не провидческими, в годы после-

военные и пореволюционные, дали и материал, и повод к совсем иному осмыслению. Едва ли ни в первую очередь это было связано с тем, что непосредственный участник этих событий простой человек, и в России, и в других странах, проявлял себя, подчас, с самых нелучших сторон, и потому глубоко разочаровал, нередко, и своих поклонников.

В «Окаянных днях» И. Бунина есть такая запись: «Шел и думал, вернее, чувствовал: если бы теперь и удалось вырваться куда-нибудь, в Италию, например, во Францию, везде было бы противно, — опротивел человек! Жизнь заставила так остро и внимательно разглядеть его, его душу, его мерзкое тело. Что наши прежние глаза, — как мало они видели, даже мои!»¹². И здесь же где-то заметит: «Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?»¹³.

Что же сильнее всего поразило многих, и особенно интеллигенцию, которая еще недавно верила, что неплохо знает свой народ? Это и более чем странное сочетание какой-то рабской готовности подчиниться, и угодить любому начальству, и плохо скрываемая ненависть ко всякой власти. Это и какое-то удивительное равнодушие ко всем и всему, в том числе и к самому себе, и, поистине, ужасающая жестокость к человеку, к людям, даже к самым близким, а то и родным.

Имея в виду советскую действительность, Г. Иванов пишет: все, что К. Леонтьев говорит в своих трудах, «нам уже знакомо заранее, и не из его статей, а непосредственно из окружающего нас хаоса и насилия... Всё знакомо — и „духовные начала“, расцветающие „посредством принуждения“, и конституции, которые „опасней пугачевщины“, — и на совет „сорваться с рельс“ и „стать во главе... умственной и социальной жизни человечества“, с сердечным удовлетворением мы можем сказать: Есть. Уже сорвались. Уже стали». А перед тем Г. Иванов заметит: «подоплека у фашизма, гитлеризма, большевизма, что ни говори, одна»¹⁴.

Да, Россия перестала быть единой, теперь она навсегда для него разделась — на прежнюю, дорогую и незабвенную, и — новую, советскую, глубоко ненавистную. И люди, помогавшие возводить эту новую, никак не могли, по его мнению,

быть хорошими, добрыми и справедливыми: достаточно было только взглянуть на их любимых вождей, которым они так верили и подчинялись, напрочь позабыв и Бога, и своих прежних кумиров.

Какие отвратительные рожи,
Кривые рты, нескладные тела:
Вот Молотов. Вот Берия, похожий
На вурдалака, ждущего кола...

В безмолвии у сталинского праха
Они дрожат. Они дрожат от страха,
Угрюмо пряча некрещеный лоб, —
И перед ними высится, как плаха,
Проклятого «вождя» — проклятый гроб [1, с. 531].

Нетрудно увидеть, что Россия, а ныне — чужая и во всех отношениях далекая советская держава, существует не сама по себе, но продолжает активно вмешиваться в жизнь покинувших ее, в их мысли, чувства, верования и надежды. И это вмешательство разрушительно по своему характеру: оно посягает на основы основ и дух патриотизма, а также и на самое дорогое, что осталось у них — воспоминания о прошлом, которое еще сравнительно недавно было их, теперешних скитальцев, прошлым и настоящим.

Россия счастье. Россия свет.
А, может быть, России больше нет.

И над Невой закат не догорал,
И Пушкин на снегу не умирал,

И нет ни Петербурга, ни Кремля —
Одни снега, снега, поля, поля...

Россия тишина. Россия прах.
А, может быть, Россия — только страх.

Веревка, пуля, ледяная тьма
И музыка, сводящая с ума.

Веревка, пуля, каторжный рассвет
Над тем, чему названья нет [1, с. 299].

Это беспамятство, в историческом и повседневном проявлении, как нельзя лучше, обыгрывается и в приведенном выше стихотворении Г. Иванова «Свободен путь над Фермопилами», где «голубые комсомолочки, Визжа купаются в Крыму». Им невдомек, что за «рождественскими елочками» скрывается «снежная тюрьма», они или позабыли или и вовсе не знали, что здесь, в Крыму, где они, «визжа купаются», совсем недавно и самым предательским образом были расстреляны и утоплены в Черном море тысячи тысяч русских людей. Отсюда и эта строчка: «Они ныря-

В. Я. Гречнев

ют над могилами, С одной – стихи, с другой – жених».

Вспомнит Г. Иванов о трагических событиях в Крыму и совсем незадолго до смерти.

И сорок лет спустя мы спорим,
Кто виноват и почему.
Так в страшный час над Черным морем
Россия рухнула во тьму...
И начался героев-нищих
Голгофский путь и торжество,
Непримиримость всё простивших,
Не позабывших ничего [1, с. 547].

В этой связи нельзя не вспомнить вызвавшее немало критических откликов начало стихотворения Г. Иванова: «Хорошо, что нет Царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет». Невольно возникают вопросы: почему, в каком смысле и для кого «хорошо»? На последний из них ответить нетрудно: разумеется, для тех, кто совершал эти злодеяния и богохульства (во всяком случае, им так казалось). Но в каком смысле и почему поэт, которому явно ненавистны были все эти идеи и деяния, дает оценку «хорошо»? Можно допустить, что здесь имеет место сарказм, который призван подчеркнуть иногда применяемый в споре прием: это когда с противной стороны во всем вроде бы соглашаются, но только затем, чтобы, используя эффект неожиданности и неотразимые факты, доказать полную несостоятельность позиции оппонента. Об этом невольно думаешь, ибо последующие строчки стихотворения посвящены развенчанию этого «хорошо». Мы видим, как неприкаянно одинок, безутешен и беззащитен человек, у которого отняли не только его родину, обжитый им мир, но и Бога: ведь он остался наедине с безграничной Вселенной, Вечностью и Ничто.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные.
Только миллионы лет...

Однако последующие строчки более чем убедительно опровергают высказанное предположение:

Хорошо – что никого,
Хорошо – что ничего,
Так черно и так мертво.
Что мертвее быть не может
И чернее не бывает,

Что никто нам не поможет
И не надо помогать [1, с. 276].

Известно, что Г. Иванова одним из первых в его поколении писателей назвали «русским экзистенциалистом». Речь шла о том, что он, как и некоторые другие литераторы и старше, и младше его, были «исторгнуты в классическую экзистенциальную ситуацию *заброшенности*... в чужой, „абсурдный“ мир, *посторонность*, одиночество. История очертила вокруг них некий трансцендентно-непереходимый рубеж, за которым лежало то, что стало им абсолютно и навеки недоступно, – былая Россия, их потерянный рай»...¹⁵

Что же остается, когда ничего не остается, когда все отнято? Можно ли найти что-то хорошее, когда все плохо, или – еще точнее: в плохом хорошее? В этой ситуации со всей воистину запредельной беспощадностью возникает вопрос о свободе. По словам А. Камю, «чтобы знать, свободен ли человек, достаточно знать, есть ли у него господин»¹⁶. Понятно, что слово «господин» следует понимать в самом широком смысле, в том как раз, в каком понимает его Г. Иванов, – это и родина, любовь к которой делает человека несвободным, это и царь с его властью и подданными, это и Бог, все определяющий в человеческой жизни, и начало её и конец. Иными словами, только человек, потерявший все, во всем разуверившийся, человек, «пробужденное сознание» которого позволяет ему совершить «бегство от сновидений повседневности», «абсурдный» человек, как называли его экзистенциалисты, способен претендовать на абсолютную свободу.

«Идея „Я есмь“, мой способ действовать так, словно всё исполнено смысла... всё это... опровергается абсурдностью смерти... Смерть становится единственной реальностью, это конец всем играм. У меня нет свободы продлить бытие, я раб... Какая свобода в полном смысле слова может быть без вечности?»...

И в то же время это и становится основанием для другой, скажем так – подлинной свободы: «ведь человек абсурда лицом к лицу со смертью... чувствует себя освобожденным от всего... По отношению ко всем общим правилам он совершенно свободен...»

Вселенная абсурдного человека – это вселенная льда и пламени, столь же про-

зрачная, сколь и ограниченная, где нет ничего возможного, но всё дано. В конце его ждет крушение и небытие. Он может решиться жить в такой вселенной. Из этой решимости он черпает силы, отсюда его отказ от надежды и упорство в жизни без утешения»¹⁷.

Именно в «такой вселенной», без всякой «надежды» и «утешения», но – «совершенно свободным» и «решается жить» лирический герой Г. Иванова. Да, «мертвее быть не может», да, «никто нам не поможет», но выбор (назовем это так, хотя альтернативы-то здесь нет) был сделан, а потому: «И не надо помогать».

Над вопросом, какая она, не только свобода в свете вечности, но и жизнь, в ее самых разных проявлениях, в ее прошлом, настоящем и будущем, Г. Иванов задумывался постоянно, и особенно в таких своих книгах, как «Отплытие на остров Цитеру» (1937 г.), «Стихи. 1943 – 1958», «Izbrannye stikhotvorenia» («Посмертный дневник») (1975 г.).

Известно, что к 1937 г. претерпела изменение не только графика написания названия книги «Отплытие на остров Цитеру», но и в значительной степени символика названия и общий замысел книги. «Отплытие на о. Цитеру» (1912 г.), по признанию автора, было связано с названием картины Ф. Ватто и (критики прибавляли в этом случае) с культом Афродиты, который был распространен на острове Цитера (Кифера). В новой книге, как и в других последующих, можно было уловить, пусть и весьма отдаленную, переключку с поэзией Ф. Сологуба. Весьма показателен в этом смысле его лирический цикл «Звезда Маир», где речь идет о Земле Ойле, озаренной этой Звездой. На этой Земле Ойле «далекой и прекрасной Вся любовь и вся душа моя... Там, в сиянии ясного Маира, Всё цветет, всё радостно поет... В колыханьи светлого эфира, Мир иной таинственно живёт»¹⁸.

В этой сказочной Земле Ф. Сологуб находил «утешение» (по слову Блока), ибо жизнь на ней обретала вечность. Однажды в минуту откровенности, по словам Г. Иванова, Ф. Сологуб признался А. Блоку, что писать «о самом главном» он не может. Блок переспросил: «о самом главном»? «Да. О страхе перед жизнью». С этим неожиданным признанием связана и другая его «обмолвка»: «Искусство – одна из

форм лжи. Тем только оно и прекрасно. Правдивое искусство – либо пустая обывательщина, либо кошмар. Кошмаров же людям не надо. Кошмаров им и так довольно» [3, с. 139, 140].

Страх перед жизнью, по словам Сологуба, «бабищей дебелий и румяной, но безобразной», и, конечно, перед смертью («я её не хочу и боюсь») постоянно ощущается в его стихах на всех этапах творческого пути. Именно от этого «кошмара» и пытается он найти «меж звезд» дорогу к своей Земле-Стране:

Мой прах истлеет понемногу,
Истлеет он в сырой земле,
А я меж звезд найду дорогу
К иной стране, к моей Ойле.

Я всё земное позабуду,
И там я буду не чужой, –
Доверюсь я иному чуду,
Как обычаю земной...¹⁹

Г. Иванов не соглашается с этой его «обмолвкой»: «В лучшем из созданного Сологубом, его стихах, никакой „лжи“ нет. Напротив, стихи его – одни из самых „правдивых“ в русской поэзии». И вместе с тем, не может не признать, что «страх» этот перед жизнью – смертью, Сологубом никогда не был преодолен. Это и дает основание Г. Иванову поразмыслить над тем, что отличает «великого» поэта и высказать весьма принципиальное для себя отношение к бытийным проблемам.

«Совсем недавно, – пишет Г. Иванов, – Сологуб был назван „великим поэтом“. Это преувеличение, разумеется.

В искусстве „великое“ начинается как раз с какой-то „победы“ над тем „страхом перед жизнью“, которым заранее и навсегда был побежден Сологуб. Но, конечно, он был поэтом в истинном и высоком смысле этого слова...» [3, с. 144, 145].

Невольно возникает вопрос, а был ли этот страх перед жизнью – смертью у самого Г. Иванова? Да, несомненно был. Но следует добавить: в последних и лучших своих книгах (выше они были названы) ему удалось, если и не окончательно преодолеть этот страх, то в значительной степени потеснить его (но в большей степени, пожалуй, это коснулось страха перед смертью).

Разумеется, не случайно был упомянут здесь цикл Сологуба «Звезда Маир» и его «Земля Ойле». Как и лирический ге-

В. Я. Гречнев

рой Сологуба, герой Г. Иванова в его книге «Отплытие на остров Цитеру» также устремляется – «отплывает» на свой «Остров», и тоже в какие-то межзвездные края. В качестве своеобразного эпиграфа можно рассматривать стихотворение, открывающее эту книгу, где несомненно центральными можно считать следующие строчки: «О, далек твой путь за звездами на север, Снежный ветер, белый веер твой» [1, с. 297]. В следующем стихотворении это движение от земной жизни к «звездной вечности» продолжается: проносятся мимо и навсегда исчезают все самые значительные и сокровенные события и мгновения жизни. Создается впечатление, что герой прощается, говорит последнее прости всему, что радовало и огорчало его в том навсегда ушедшем времени. От всего, что было, остается только музыка, и она вызывает печаль, что и понятно: ведь музыка почти всегда пробуждает прежде всего воспоминания, напоминает о том, что всё самое дорогое, заветное и неповторимое навсегда исчезло: начало жизни, любовь, надежда на счастье...

Это месяц плывёт по эфиру,
Это лодка скользит по волнам,
Это жизнь приближается к миру,
Это смерть улыбается нам.
Обрывается лодка с причала
И уносит, уносит её...

Да, – и то что зовется любовью,
Да, – и то что надеждой звалось,
Да, – и то что дымящейся кровью
На сияющий снег пролилось...

Приближается звёздная вечность,
Рассыпается пылью гранит,
Бесконечность, одна бесконечность
В леденеющем мире звенит.
Это музыка миру прощает
То, что жизнь никогда не простит.
Это музыка путь освещает,
Где погибшее счастье летит [1, с. 298].

Этот мотив «отплытия» в ту «Страну», на тот «Остров», с которого никто никогда не возвращается, постоянно возникает в его стихах, с годами все отчетливее звучит в них тема смерти, абсолютно всё и вся поглощающей и обесценивающей, лишаящей всякого смысла все мысли и чувства, слова, дела и события.

Потеряв даже в прошлое веру,
Став ни это, мой друг, и не то, –
Уплываем теперь на Цитеру
В синеватом сиянии Ватто...

Грусть любит лунным пейзажем,
Смерть, как парус, шумит за кормой...

...Никому ни о чем не расскажем,
Никогда не вернемся домой [1, 336].

Иными словами, жизнь не способна выдержать испытание смертью: ведь даже «гранит» «рассыпается пылью» в приближении «звездной вечности». Понимая неотразимость подобных доводов, Г. Иванов, тем не менее, стремится порой оспорить их, утверждает, что всевластное и неуязвимое Ничто если и бывает бессильно, так разве только перед любовью настоящей, которая, как и талант, большая редкость на земле. Только так любившие при жизни, никогда не расстаются и после смерти: «С верным другом, с неразлучным другом, С мертвым другом – мертвый друг».

Им спокойно вместе, им блаженно рядом...
Тише, тише. Не дыши.
Это только звезды над пустынным садом,
Только синий свет твоей души [1, с. 305].

Принято считать, что умерший человек как бы продолжает оставаться среди живых, пока жив хоть один человек, продолжающий любить его. Г. Иванову близка эта мысль, но разделяет он и другую, а именно, что истинная любовь, душевная и духовная связь, никогда не прерывавшаяся при жизни, не обрывается и после смерти.

Распыленный миллионом мельчайших частиц
В ледяном, безвоздушном, бездушном эфире,
Где ни солнца, ни звезд, ни деревьев, ни птиц,
Я вернусь – отраженьем – в потерянном мире.

И опять, в романтическом Летнем Саду,
В голубой белизне петербургского мая,
По пустынным аллеям неслышно пройду,
Драгоценные плечи твои обнимая [1, с. 439].

Разумеется, не только любовь подается и рассматривается Г. Ивановым в контексте вечности. С течением времени, проходившем в эмиграции, в условиях, как отмечалось выше, во многих отношениях экстремальных, буквально всё, или почти всё, начинает изображаться под этим знаком. Но если любовь, условно говоря, эту проверку выдержала, то про многое другое сказать этого нельзя.

Итак, неприкаянность и безысходное одиночество русских изгнанников как нельзя лучше способствовали более чем обостренному восприятию вечности. И это

весьма ощутимо сказывалось на содержании и направленности их мыслей и чувств. К примеру сказать, лирический герой Г. Иванова нередко производит впечатление человека, вся жизнь которого сводится к ожиданию своего смертного часа: «Всё неизменно, и всё изменилось... Точно меня отпустили на волю И отказали в последней надежде» [1, 320]. А иногда это самочувствие человека, подводящего итоги своего земного пути. «Я верю... Не в музыку, что жизнь мою сожгла, А в пепел, что остался от сожжения» [1, 321]. Известно ему и, пожалуй, самое горькое, что жизнь обошлась с ним более чем жестоко: не только никогда и ничего не простила, но и, как понимает он теперь, и не могла простить. Многие дает для понимания состояния его души «морозное окно», с «колыханьем черных веток» вокруг него. Именно в это окно он смотрит на мир, отсюда и неизбывная печаль, не оставляющая его ни на минуту.

Но тому, кто тихо плачет,
Молча стоя у окна,
Ничего уже не значит,
Что задача решена [1, с. 309].

В поле зрения поэта попадает и самый процесс умирания человека: и то, как его душа, покидает брэнное тело, и то, как она приобщается к вечности. «Над бурями темного века В беззвездное небо летит» [1, с. 315]. «Капля за каплей – кровь и вода – В синюю вечность твою навсегда» [1, с. 301]. Но даже и в этом случае мелькает иногда «Тень надежды безнадежной» – «А могло бы быть иначе» – «Мог поймать. Не повезло». Но и эта надежда, как и все другие, живет лишь мгновение, неумолимое Ничто продолжает свое шествие: на смену радостям приходят страдания, а затем и неминуемая смерть. И еще: приходит понимание, граничащее с полной безнадежностью, – что даже и воскресение из мертвых ничего не могло бы изменить, – возвратиться-то было бы некуда, ведь родной дом оказался теперь в совсем чужой России, где его могли ждать только тюрьма и смерть. Наверное поэтому в одной из российских избенок «Жалобно плачет ребенок, Тот, что сегодня воскрес».

Мертвый проснется в могиле,
Черная давит доска.
Что это? Что это? – Или
И воскресенье тоска?

И воскресенье унынье?
Скучное дело – домой.
...Тянет Вольную, полыню,
Тянет сумой и тюрьмой [1, с. 325].

Нетрудно заметить здесь творческую переключку с А. Блоком, и в частности, с его стихотворением «Девушка пела в церковном хоре». В нем многое близко мыслям и настроениям наших изгнанников, хотя бы эти строчки: «О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях ушедших в море, О всех забывших радость свою», и «тень надежды безнадежной»: «Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь» обретут, а также и – «ребенок», плач которого ставит под сомнение все и всякие упования на лучшее: «Причастный тайнам, – плакал ребенок О том, что никто не придет назад»²⁰.

Понятно, что человеку почти все на свете, и прежде всего – небо и звезды, напоминают о бесконечности, в которую никак не вписывается его конечная жизнь. Отсюда, никогда не оставляющая, горькая и мучительная печаль, ад в душе, за который, не без сарказма, благодарит Г. Иванов: «Лояльно благодарен Аду За звездный кров над головой» [1, с. 390]. Этот «Ад», как представляется, возникает потому, что звездный свет и свет человеческой жизни существуют обыкновенно каждый по себе, в полной обособленности и одиночестве, – ведь лишь на мгновение приходит человек в этот мир, а звезды как светили во тьме ночной задолго до его появления, так и будут продолжать мерцать и после него. Но чудо иногда происходит, хотя и, как можно догадаться, в тех, каких-то особых и редчайших случаях, когда звездные лучи и свет человеческих глаз, почему-то вдруг пересекаются, и тогда, образно говоря, происходит приобщение конечного к бесконечному, капля дождя сливается с океаном и обретает вечность.

От синих звезд, которым дела нет
До глаз, на них глядящих с упованием,
От вечных звезд – ложится синий свет
Над сумрачным земным существованием.

И сердце беспокоится. И в нем –
О, никому на свете незаметный –
Вдруг чудным загорается огнем
Навстречу звездному лучу – ответный.

И надо всем мне в мире дорогим
Он холодно скользит к границе мира,
Чтобы скреститься там с лучом другим,
Как золотая тонкая рапира [1, с. 292].

В. Я. Гречнев

Примечания

- ¹ **Одоевцева И.** На берегах Сены. – М., 1989. – С. 188.
- ² Там же. – С. 187-188.
- ³ **Гуль Р.** Одвуконь. Советская и эмигрантская литература. – Нью-Йорк, 1973. – С. 66.
- ⁴ **Герцен А.** Былое и думы. – М., 1969. – С. 583.
- ⁵ **Померанцев К.** Оправдание поражения // Лит. обозрение. – 1990. – № 7. – С. 15, 16.
- ⁶ **Адамович Г.** Одиночество и свобода. – М., 1996. – С. 229-230.
- ⁷ **Франк С.Л.** Сочинения. – М., 1990. – С. 163, 164.
- ⁸ **Набоков В.** Стихотворения. – М., 1991. – С. 63.
- ⁹ **Богомолов Н.** Талант двойного зренья // Вопр. литературы. – 1989. – № 2. – С. 130.
- ¹⁰ **Бердяев Н.** Философия свободного духа. – М., 1994. – С. 285.
- ¹¹ **Леонтьев К.Н.** PRO ET CONTRA. Антология. – СПб., 1995. – Кн. 2. – С. 194.
- ¹² **Бунин И.** Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. – М., 1990. – С. 129.
- ¹³ Там же. – С. 118.
- ¹⁴ Там же. – С. 194-195.
- ¹⁵ **Семенова С.** Два полюса русского экзистенциального сознания // Новый мир. – 1999. – № 9. – С. 183.
- ¹⁶ **Камю А.** Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. – М., 1989. – С. 261.
- ¹⁷ Там же. – С. 262, 263, 264.
- ¹⁸ **Сологуб Ф.** Стихотворения. – Л.: Сов. писатель, 1975. – С. 217.
- ¹⁹ Там же. – С. 218.
- ²⁰ **Блок А.** Собр. соч.: В 8 т. – М.; Л.: Худож. лит., 1960. Т. 2. – С. 79.